

Дмитрий Васильевич Григорович

ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК

*«...Когда я родился — я заплакал;
впоследствии каждый прожитой
день объяснял мне, почему я
заплакал, когда родился...»*

I

Метель! Метель!! И как это вдруг! Как неожиданно!!! А до того времени стояла прекрасная погода. В полдень слегка морозило; солнце, ослепительно сверкая по снегу и заставляя всех щуриться, прибавляло к весёлости и пестроте уличного петербургского населения, праздновавшего пятый день Масленицы. Так продолжалось почти до трёх часов, до начала сумерек, и вдруг налетела туча, поднялся ветер, и снег повалил с такою густотою, что в первые минуты ничего нельзя было разобрать на улице.

Суета и давка особенно чувствовались на площади против цирка. Публика, выходявшая после утреннего представления,

едва могла пробираться в толпе, валившей с Царицы на Луга, где были балаганы. Люди, лошади, сани, кареты — всё смешалось. Посреди шума раздавались со всех концов нетерпеливые возгласы, слышались недовольные, ворчливые замечания лиц, застигнутых врасплох метелью. Нашлись даже такие, которые тут же не на шутку рассердились и хорошенько её выбрали.

К числу последних следует прежде всего причислить распорядителей цирка. И в самом деле, если принять в расчёт предстоящее вечернее представление и ожидаемую на него публику, — метель легко могла повредить делу. Масленица бесспорно владеет таинственной силой пробуждать в душе человека чувство долга к употреблению блинов, услаждению себя увеселениями и зрелищами всякого рода; но, с другой стороны, известно также из опыта, что чувство долга может иногда пасовать и слабнуть от причин, несравненно менее достойных, чем перемена погоды. Как бы там ни было, метель колебала успех вечернего представления; рождались даже некоторые опасения, что если погода к восьми часам не улучшится — касса цирка существенно пострадает.

Так или почти так рассуждал режиссёр цирка, провожая глазами публику, теснящуюся у выхода. Когда двери на площадь были заперты, он направился через залу к конюшням.

В зале цирка успели уже потушить газ. Проходя между барьером и первым рядом кресел, режиссёр мог различить сквозь мрак только арену цирка, обозначавшуюся круглым мутно-желтоватым пятном; остальное всё: опустевшие ряды кресел, амфитеатр, верхние галереи — уходили в темноту, местами неопределённо чернея, местами пропадая в туманной мгле, крепко пропитанной кисло-сладким запахом конюшни, амьяка, сырого песку и опилок. Под куполом воздух так уже сгущался, что трудно было различать очертание верхних окон; затемнённые снаружи пасмурным небом, залепленные наполовину снегом, они проглядывали вовнутрь, как сквозь кисель, сообщая настолько свету, чтобы нижней части цирка придать ещё больше сумрака. Во всём этом обширном тёмном пространстве свет резко проходил только золотистой продольной полоской между половинками драпировки, ниспадавшей под оркестром;

он лучом врезывался в тучный воздух, про- падал и снова появлялся на противополож- ном конце у выхода, играя на позолоте и малиновом бархате средней ложи.

За драпировкой, пропускавшей свет, раздавались голоса, слышался лошадиный топот; к ним время от времени присоединялся нетерпеливый лай учёных собак, которых запирали, как только оканчивалось пред- ставление. Там теперь сосредоточивалась жизнь шумного персонала, одушевлявшего полчаса тому назад арену цирка во время утреннего представления. Там только горел теперь газ, освещая кирпичные стены, на- скоро забелённые известью. У основания их, вдоль закруглённых коридоров, громоз- дились сложенные декорации, расписные барьеры и табуреты, лестницы, носилки с тюфяками и коврами, свёртки цветных флагов; при свете газа чётко обрисовыва- лись висевшие на стенах обручи, переви- тые яркими бумажными цветами или за- клеенные тонкой китайской бумагой; подле сверкал длинный золочёный шест и выде- лялась голубая, шитая блёстками, занаве- ска, украшавшая подпорку во время танце- вания на канате. Словом, тут находились

все те предметы и приспособления, которые мгновенно переносят воображение к людям, перелетающим в пространстве, женщинам, усиленно прыгающим в обруч с тем, чтобы снова попасть ногами на спину скачущей лошади, детям, кувыркающимся в воздухе или висящим на одних носках под куполом.

Несмотря, однако ж, что всё здесь напоминало частые и страшные случаи ушибов, перелома рёбер и ног, падений, сопряжённых со смертью, что жизнь человеческая постоянно висела здесь на волоске и с нею играли, как с мячиком, — в этом светлом коридоре и расположенных в нём уборных встречались больше лица весёлые, слышались по преимуществу шутки, хохот и пошвыстыванье.

Так и теперь было.

В главном проходе, соединявшем внутренний коридор с конюшнями, можно было видеть почти всех лиц труппы. Одни успели уже переменить костюм и стояли в мантильях, модных шляпках, пальто и пиджаках; другим удалось только смыть румяна и белила и наскоро набросить пальто, из-под которого выглядывали ноги, обтянутые в цветное трико и обутые в баш-

маки, шитые блёстками; третьи не торопились и красовались в полном костюме, как были во время представления.

Между последними особенное внимание обращал на себя небольшого роста человек, обтянутый от груди до ног в полосатое трико с двумя большими бабочками, нашитыми на груди и на спине. По лицу его, густо замазанному белилами, с бровями, перпендикулярно выведенными поперёк лба, и красными кружками на щеках, невозможно было бы сказать, сколько ему лет, если бы он не снял с себя парика, как только окончилось представление, и не обнаружил этим широкой лысины, проходившей через его голову.

Он заметно обходил товарищей, не вмешивался в их разговоры. Он не замечал, как многие из них подталкивали друг друга локтем и шутливо подмигивали, когда он проходил мимо.

При виде вошедшего режиссёра он попытался, быстро отвернулся и сделал несколько шагов к уборным; но режиссёр поспешил остановить его.

— Эдвардс, погодите минутку; успеете ещё раздеться! — сказал режиссёр, вни-

мательно поглядывая на клоуна, который остановился, но, по-видимому, неохотно это сделал, — подождите, прошу вас; мне надо только переговорить с фрау Браун... Где мадам Браун? Позовите её сюда... А, фрау Браун! — воскликнул режиссёр, обратясь к маленькой хромой, уже не молодой женщине, в салопе, также не молодых лет, и шляпке, ещё старше салопы.

Фрау Браун подошла не одна: её сопровождала девочка лет пятнадцати, худенькая, с тонкими чертами лица и прекрасными выразительными глазами.

Она также была бедно одета.

— Фрау Браун, — торопливо заговорил режиссёр, бросая снова испытующий взгляд на клоуна Эдвардса, — господин директор недоволен сегодня вами — или, всё равно, вашей дочерью: очень недоволен!.. Ваша дочь сегодня три раза упала и третий раз так неловко, что перепугала публику!

— Я сама испугалась, — тихим голосом произнесла фрау Браун, — мне показалось, Мальхен упала на бок...

— А, па-па-ли-па! Надо больше репетировать, вот что! Дело в том, что так невоз-

можно; получая за вашу дочь сто двадцать рублей в месяц жалованья...

— Но, господин режиссёр, Бог свидетель, во всём виновата лошадь; она постоянно сбивается с такта; когда Мальхен прыгнула в обруч — лошадь опять переменила ногу, и Мальхен упала... вот все видели, все то же скажут...

Все видели — это правда; но все молчали. Молчала также виновница этого объяснения; она ловила случай, когда режиссёр не смотрел на неё, и робко на него поглядывала.

— Дело известное, всегда в таких случаях лошадь виновата, — сказал режиссёр. — Ваша дочь будет, однако ж, на ней ездить сегодня вечером.

— Но она вечером не работает...

— Будет работать, сударыня! Должна работать!.. — раздражённо проговорил режиссёр. — Вас нет в расписании, это правда, — подхватил он, указывая на писанный лист бумаги, привешенный к стене над доскою, усыпанной мелом и служащей артистам для обтирания подошв перед выходом на арену, — но это всё равно; жон-

глёр Линд внезапно захворал, ваша дочь займёт его номер.

— Я думала дать ей отдохнуть сегодня вечером, — проговорила фрау Браун, окончательно понижая голос, — теперь Масленица: играют по два раза в день; девочка очень устала...

— На это есть первая неделя поста, сударыня; и, наконец, в контракте ясно, кажется, сказано: «артисты обязаны играть ежедневно и заменять друг друга в случае болезни»... Кажется, ясно; и, наконец, фрау Браун: получая за вашу дочь ежемесячно сто двадцать рублей, стыдно, кажется, говорить об этом: именно стыдно!..

Отрезав таким образом, режиссёр повернулся к ней спиною. Но прежде чем подойти к Эдвардсу, он снова обвёл его испытующим взглядом.

Притуплённый вид и вообще вся фигура клоуна, с его бабочками на спине и на груди, не предвещали на опытный глаз ничего хорошего; они ясно указывали режиссёру, что Эдвардс вступил в период тоски, после чего он вдруг начинал пить мёртвую; и тогда уже прощай все расчёты на клоуна — расчёты самые основательные, если

принять во внимание, что Эдвардс был в труппе первым сюжетом, первым любимцем публики, первым потешником, изобретавшим чуть ли не каждое представление что-нибудь новое, заставлявшее зрителей смеяться до упаду и хлопать до неистовства. Словом, он был душою цирка, главным его украшением, главной приманкой.

Боже мой, что мог бы сказать Эдвардс в ответ товарищам, часто хваставшим перед ним тем, что их знала публика и что они бывали в столицах Европы! Не было цирка в любом большом городе от Парижа до Константинополя, от Копенгагена до Палермо, где бы не хлопали Эдвардсу, где бы не печатали на афишах его изображение в костюме с бабочками! Он один мог заменять целую труппу: был отличным наездником, эквилибристом, гимнастом, жонглёром, мастером дрессировать учёных лошадей, собак, обезьян, голубей, а как клоун, как потешник — не знал себе соперника. Но припадки тоски в связи с запоем преследовали его повсюду.

Всё тогда пропадало. Он всегда предчувствовал приближение болезни; тоска, овладевавшая им, была ничего больше, как

внутреннее сознание бесполезности борьбы; он делался угрюмым, несообщительным. Гибкий, как сталь, человек превращался в тряпку, — чему втайне радовались его завистники и что пробуждало сострадание между теми из главных артистов, которые признавали его авторитет и любили его; последних, надо сказать, было немного. Самолюбие большинства было всегда более или менее задето обращением Эдвардса, никогда не соблюдавшего степеней и отличий: первый ли сюжет, являвшийся в труппу с известным именем, простой ли смертный тёмного происхождения, — для него было безразлично. Он явно даже предпочитал последних.

Когда он был здоров, его постоянно можно было видеть с каким-нибудь ребёнком из труппы; за неимением такого он возился с собакой, обезьяной, птицей и т.д.; привязанность его рождалась всегда как-то вдруг, но чрезвычайно сильно. Он всегда отдавался ей тем упорнее, чем делался молчаливее с товарищами, начинал избегать с ними встреч и становился всё более и более сумрачным.